

МАРТА ЗИМИНА



Аптекарьша

с Воскресенской

Марта Зимина

Аптекарьша с Воскресенской

«Автор»

2026

Зими́на М.

Аптека́рша с Воскресе́нской / М. Зими́на — «Автор», 2026

«Мадам, у вас в журнале ядов три подписи вашей рукой. И три покойника».Ещё вчера я отпускала валерьянку в сетевой аптеке в Казани. Сегодня на дворе 1888 год, я вдова аптекаря Ланге, мне двадцать три, на мне корсет, долг в восемь тысяч и подозрение в отравлении. Пристав Брагин смотрит на меня как на склянку с черепом на этикетке. Обаятельный доктор Зарецкий поёт романсы и предлагает купить аптеку. А мне нужен провизор, деньги до Покрова и ответ, от чего на самом деле умер мой муж.Тридцать лет у кассы научили меня одному: почерк врача не меняется ни в каком веке.В книге будет: попаданка с профессией и характером Казань 1888 года, аптека на главной улице лёгкий детектив и мышьяк в каплях от мигрени суровый пристав, который всё записывает обаятельный доктор, которому лучше не доверять от подозрений до любви счастливый финал

© Зими́на М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Горькоминдальная вода	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Марта Зимина

Аптекарьша с Воскресенской

Глава 1. Горькоминдальная вода

Женщина в бежевом пуховике подошла к кассе в девятнадцать сорок две и сказала:

— Мне только спросить.

Закон провизора номер один: если человек говорит «мне только спросить», он простоит у прилавка сорок минут. Я вывела этот закон году на третьем работы, ещё в аптеке на Декабристов, где пахло хлоркой и котлетами из соседней столовой, и с тех пор он не подвёл меня ни разу. Ни в девяносто девятом, ни в пандемию, ни сегодня, второго сентября, в среду, за восемнадцать минут до конца смены.

Спросить ей надо было про давление. У неё давление, у мужа давление, у мужниной мамы давление, но мама пьёт таблетки, которые ей выписала «хорошая врач, не эта новая», и таблетки эти кончились, а рецепта нет, а врач в отпуске, а новая не выписывает, потому что «не знает анамнез», и женщина произнесла слово «анамнез» с таким презрением, будто врач лично его выдумала ей назло.

— Без рецепта не могу, — сказала я.

— Я же не наркотики прошу.

— Понимаю.

— Вам что, жалко?

Мне не было жалко. Мне было сорок семь лет, у меня ныли оба колена, особенно левое, которое всегда знало о дожде раньше Гидрометцентра, и в кармане халата третий раз за вечер вибрировал телефон. Я знала, кто звонит. Звонил Геннадий Петрович, региональный управляющий нашей сети «Аптека Плюс», человек с голосом диктора и душой калькулятора. В девятнадцать сорок он всегда звонил узнать, как у нас с планом по магнию.

С магнием у нас было плохо. Люди на Кремлёвской почему-то не хотели магний. Они хотели от давления, от головы, от поноса, от похмелья, и ещё туристы хотели воду, жвачку и пластырь от мозолей, потому что от Кремля до Баумана идти недолго, но в новых кроссовках достаточно.

Женщина в пуховике ушла в восемь двадцать три, купив валерьянку в таблетках и гематоген. Гематоген она взяла, как я поняла, мне назло.

Телефон я взяла уже на улице.

— Варвара Сергеевна, — сказал Геннадий Петрович так, будто читал некролог. — Магний.

— Знаю.

— Вы девятый день в красной зоне.

— Геннадий Петрович, у меня покупатели с давлением. Я им не могу магний вместо таблеток.

— Я не прошу вместо. Я прошу вместе. Допродажа, Варвара Сергеевна. Мы с вами на тренинге разбирали.

На тренинге мы разбирали, что покупателю надо улыбаться глазами. Я тогда спросила, как улыбаться глазами в маске, и меня записали в «зону развития».

— Завтра будет лучше, — сказала я, и он отключился, не попрощавшись. Так делают люди, которые считают своё время дороже вашего, и чаще всего ошибаются.

Кремлёвская вечером в начале сентября пахнет мокрым асфальтом и кофе из стаканчиков. Студенты сидели на ступенях университета, кто-то играл на укулеле одну и ту же песню,

и я не смогла вспомнить чью. Башня Сююмбике подсвечивалась над домами, как торт на витрине. Я свернула к остановке, а потом передумала и пошла пешком. Колено сказала, что я дура. Колено было право, но до Карла Маркса двадцать минут, и мне не хотелось домой быстрее, чем нужно.

Дома меня ждали: недопитый с утра кефир, раковина, в которой с воскресенья лежали две тарелки, и пустое место у батареи, где до апреля спал Пончик. Пончик прожил шестнадцать лет и умер, как жил: на моих ногах, громко дыша. Я до сих пор каждый раз, открывая дверь, смотрела вниз, чтобы не наступить.

(Привычка. Через пару часов она мне уже не понадобится. Но об этом позже.)

Банку я купила в воскресенье на барахолке.

Я не хожу на барахолки. Я хожу туда, где продают то, что мне нужно, и ухожу оттуда как можно скорее. Но в воскресенье звонил Тимур, сын, из Москвы, и сказал, что у него «пока не получается приехать», и сказал так бодро, что я сразу поняла: не получается и не получится, по крайней мере до Нового года, а может, и до весны. Я сказала «конечно, солнце, работай». Потом я надела куртку и вышла, просто чтобы не сидеть в квартире, где пахнет кефиром и тишиной у батареи.

На барахолке старик в тюбетейке продавал с газеты всё сразу: значки «Победитель соцсоревнования», бронзовую ручку от двери, утюг на углях, пачку открыток, перетянутую резинкой. И банку.

Я узнала её сразу, хотя никогда такой не держала. Штангласс. Аптечная банка тёмно-зелёного стекла, толстая, тяжёлая, с притёртой стеклянной пробкой. Такие стояли в аптеках при царе рядами, на полках до потолка, и на каждой была этикетка. На этой тоже была. Бумажная, рыжая от времени, края обтрепались, но буквы читались. Сверху латынь, выведенная чернилами аккуратным немецким почерком:

Aqua Amygdalarum amararum.

А ниже, мельче, по-русски: «Аптека Г. К. Ланге. Казань».

— Сколько? — спросила я.

— Тысяча, — сказал старик.

— Пятьсот.

— Тысяча, апа. Это царское стекло. Там внутри ещё что-то есть.

Внутри действительно что-то было. Когда я наклонила банку, на дне шевельнулось, будто тень. Немного, на палец.

Я заплатила тысячу. Не потому что старик убедил меня. Потому что горькоминдальная вода.

Нас учили ей на третьем курсе фармакогнозии, вскользя, как учат вещам, которые давно никто не делает. Её перегоняли из жмыха горького миндаля, давали по каплям от кашля, от рвоты, от нервов. Успокоительное позапрошлого века. В ней была синильная кислота. Немного, около десятой доли процента, но была. Преподавательница наша, Римма Фаридовна, в очках на цепочке, говорила: «Девочки, когда-то провизор, перепутавший дозу горькоминдальной воды, шёл под суд. Вы будете путать дозу магния и пойдёте в отдел продаж». Мы смеялись. Римма Фаридовна не смеялась.

Банка простояла у меня на подоконнике три дня, между алоэ и коробкой от новых сапог. Я смотрела на неё вечерами. Мне было интересно и немного противно, как бывает интересно и противно смотреть в чужой холодильник.

В среду, второго сентября, я пришла домой в девять, поставила чайник, вымыла две тарелки из воскресенья, а потом сняла банку с подоконника и села с ней за кухонный стол.

Я знала, что делаю глупость. Я сорок семь лет знаю, что делаю глупость, ровно тогда, когда её делаю, и ни разу это знание меня не остановило. Синильная кислота за сто с лишним

лет должна была давно разложиться, уйти сквозь притёртое горлышко, превратиться в ничто. Мне просто хотелось понюхать. Я провизор. Мне хотелось понюхать позапрошлый век.

Пробка не шла. Я обернула её кухонным полотенцем, тем, что с петухами, подаренным мамой в две тысячи седьмом, и повернула. Стекло скрипнуло о стекло, звук был противный, как ногтем по доске. Повернула ещё. Пробка вышла с тихим чмоком.

Запах был не сильный. Сначала я подумала, что ничего нет. Потом он пришёл.

Горький миндаль. Марципан, который забыли в шкафу, и косточка абрикоса, если её расколоть зубами, как в детстве у бабушки в Зеленодольске, и ещё что-то металлическое, холодное, как ложка, которую держали во рту. Не все люди чувствуют этот запах. Это генетика: у кого-то его просто нет. Римма Фаридовна говорила, что это примерно каждый пятый. Я, выходит, была не из пятых.

Я хотела закрыть пробку. Помню, что рука пошла к пробке.

Кухня повернулась на бок, медленно, вежливо, как карусель в парке Горького, когда она только трогается. Свистнул чайник. Я ещё успела подумать, что надо бы выключить газ. И ещё, совсем глупо, что Геннадий Петрович завтра снова позвонит про магний, а меня не будет.

Потом стало темно.

* * *

Я проснулась от того, что мне было удобно.

Это было первое, и это было неправильно. Последние лет восемь я просыпалась от неудобства: затекла шея, ноет колено, мёрзнут ноги, потому что одеяло опять сползло. А сейчас не болело ничего. Совсем. Я лежала на спине и прислушивалась к телу, как прислушиваются к холодильнику, который вдруг перестал гудеть. Колени молчали. Поясница молчала. Шея лежала на подушке, как будто так и надо.

Значит, больница, решила я. Значит, меня нашли, откачали, вкололи что-то хорошее, и это хорошее ещё действует. Трамадол, наверное. После трамадола мне всегда было удобно.

Я открыла глаза.

Потолок был высокий, с лепниной по краю, серой от пыли, и тёмный. Не больничный. На больничном потолке есть лампы, датчики дыма, есть пятно от протечки в виде Австралии. Здесь было тихо и темно, только в углу горел красный огонёк. Я долго на него смотрела, пока не поняла, что это лампадка. Под иконой. Маленькое пламя в красном стекле, а над ним тёмный лик в серебряном окладе, не разобрать чей.

Пахло нафталином. Сильно, как в бабушкином шкафу. Под нафталином пахло воском, а под воском ещё чем-то сладким и кислым, лекарственным, и этот запах я узнала бы и в коме: камфора. Камфорный спирт. Им когда-то растирали всё, от ушей до пяток.

Я лежала на перине, глубокой, как сугроб, и сверху лежала ещё одна перина. Под шеей были три подушки разного размера, сложенные горкой. Справа стояла ширма, на ней висело что-то белое, длинное, с кружевом.

Я села.

Это получилось легко, в одно движение, без опоры на локоть, без того стога, который в последние годы вылетал из меня сам, как из старого дивана. Я села и чуть не упала обратно от удивления.

Ночная рубашка на мне была до пят, из тонкого полотна, с вышивкой у ворота. Длинные рукава закрывали запястья. Я подняла руку к лицу.

Рука была чужая.

Маленькая, узкая, с тонкими пальцами. Ногти коротко обрезаны, неровно. На безымянном пальце тонкое золотое кольцо, гладкое, без камня. На тыльной стороне ни одной венки, ни пятнышка, ни шрама от ожога, который я получила в девяносто шестом о стерилизатор. Кожа белая, гладкая, холодная. Я потрогала одной чужой рукой другую. Обе были ледяные, как будто их долго держали в снегу.

Я закрыла глаза и посчитала до десяти. Так меня учили в первый год, когда я ещё боялась покупателей: если сейчас страшно, посчитай до десяти, потом станет просто неприятно.

На счёт десять рука была всё та же.

Значит, не трамадол, подумала я. Значит, что-то серьёзнее. Галлюциноген. Синильная кислота не даёт галлюцинаций, она даёт гипоксию тканей, судороги и смерть, и я, кажется, должна была умереть, а вместо этого сижу в нафталиновой перине и рассматриваю чужие ногти. Гипоксия мозга, решила я. Мозг без кислорода показывает кино. Мне показывают кино про позапрошлый век, потому что последнее, что я видела, была банка позапрошлого века. Логично. Мозг у меня всегда был логичный, даже когда умирал.

Ширма. Кружево. Комод в углу, пузатый, тёмный, на гнутых ножках, и на комодe что-то блестело. Зеркало.

Я спустила ноги. Пол оказался холодным, крашеным, доски гуляли под ступнями. Ноги тоже были чужие, маленькие, тридцать шестой размер, не больше, а у меня тридцать девятый с половиной и шишка на левой косточке. Шишки не было.

До комода было шесть шагов. Я прошла их, придерживаясь за спинку кровати, потом за ширму, потом за стену. Не потому что ноги не держали. Держали они прекрасно, даже слишком: я шла легко, как ходят в двадцать лет, когда не думают, как ходят. Я держалась, потому что мне надо было за что-то держаться.

Зеркало было в раме из тёмного дерева, наклонное, на двух винтах. Перед ним лежали гребень, коробочка с булавками, флакон тёмного стекла с притёртой пробкой и рядом тонкая книжечка в бархатной обложке, молитвенник, наверное. Лампадка давала мало света. Я наклонилась ближе.

Из зеркала на меня смотрела девочка.

Ну, не девочка. Девушка. Двадцать с небольшим. Худое лицо, острый подбородок, большие светлые глаза, сейчас круглые от ужаса. Брови тонкие, тёмные. Волосы русые, длинные, заплетены на ночь в косу, и коса лежала на плече толстой змеей. Губы бледные, почти серые. Под глазами синева, как после болезни или после бессонной недели.

Хорошенькая, отметила я. Очень хорошенькая, если откормить. Мне бы такое лицо в двадцать три. В двадцать три у меня были прыщи на лбу, перманент и муж, который через восемь лет ушёл к администраторше из стоматологии.

Я дотронулась до своей щеки. Девушка в зеркале дотронулась до своей.

— Мама, — сказала я.

Голос тоже был чужой. Выше моего, тоньше, с лёгкой хрипотцой, как у человека, который долго молчал.

Я перевела взгляд на флакон у зеркала. Тёмное стекло. Притёртая пробка. Этикетки не было, только на горлышке кто-то привязал ниткой бумажку, и на бумажке карандашом было написано по-русски, мелко, косым мужским почерком: «Капли успок. по 15 на ночь. А. З.».

Я взяла флакон. Он был почти пустой. На дне блестела капля, может быть, две.

Я вынула пробку и поднесла к носу.

Это было как наступить в темноте на последнюю ступеньку, которой нет. Тело ухнуло вниз, хотя я стояла на месте. Тот же запах. Горький миндаль. Марципан из забытого шкафа и холодная металлическая ложка. Слабее, чем из банки, едва-едва, но я его узнала, я бы его теперь узнала где угодно.

Я заткнула флакон и поставила его на комод. Рука почему-то не хотела разжиматься. Я разжала её второй рукой, по пальцу.

Пятнадцать капель на ночь, подумала я. Успокоительное. А. З.

Кто-то дал этой девочке успокоительное с горьким миндалём. И девочка, судя по тому, что из зеркала на меня теперь смотрела я, его выпила.

За дверью скрипнула половица.

Я обернулась. В щели под дверью качнулся жёлтый свет, свеча или лампа, и чьи-то шаги, тяжёлые, шаркающие, остановились прямо за дверью. Кто-то стоял там и дышал. Громко, с присвистом, как дышат полные люди после лестницы. Потом пробормотал, глухо, неразборчиво, что-то вроде «господи помилуй, господи помилуй, царица небесная», и дверь медленно открылась.

На пороге стояла женщина лет пятидесяти, широкая, в тёмной юбке и сером платке, повязанном под подбородком. В одной руке у неё была сальная свеча в медном подсвечнике, в другой какой-то свёрток. За её спиной в коридоре было серо: светало. Значит, раннее утро. Женщина увидела меня у комода, и свеча в её руке поехала вбок, и горячий жир потёк ей на пальцы, а она даже не заметила.

Мы смотрели друг на друга. Я в чужой рубашке, с чужой косой на плече. Она с отвисшей челюстью, с мокрыми от слёз щеками.

Свёрток выпал у неё из руки и раскатился по полу. Это была белая простыня, и я поняла, что простыню она несла, чтобы меня накрыть.

— Барыня, — сказала женщина шёпотом. — Варвара Ивановна. Вы ж померли ночью. Она перекрестилась свечой, и ещё раз, и ещё, и жир капал на пол.

— Я сама пульс щупала. Холодная вы были, как колода. Я ж за доктором Аркадием Львовичем Шамильку послала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.